



(Продолжение. Начало на 5-й стр.)

Я только слышал их имена: Бродский, Гепнер, Хари, Ашкинази, Пташников, Анатра... Еще многие, которых я не помню".

Я вот не только не видел их (хотя прадед мой мог быть в этом списке), но о двоих и не слышал. И тут меня, надеюсь, да что там — уверен, дополняют и Валентина Степановна, и Олег Иосифович.

**Феликс КОХРИХТ.**

Дорогой Феликс! Спасибо тебе не только за лестный отзыв о моих "мемориях", но и за движение души — продолжить рассказ о деталях, мелочах, подробностях нашего не обласканного странной детства (несмотря на то, что в школе мы твердили: "За детство благодарны тебе, спасибо, родная страна!"); и я иногда — это я не придумала сейчас, клянусь! — думала, как Петя Бачей, подслушавший разговор папы с тетей: оказывается, не Россия выиграла войну, а Япония. Мое детское сердечко сжималась от ужаса, я никому не могла доверить свои страхи и только про себя иногда думала: может, все-таки Германия победила) и, тем не менее, счастливого — вопреки лучшему другу всех детей!

Наше одесское детство.

Раз уж ты пригласил к продолжению воспоминаний, то вот, следя по твоему тексту, некоторые дополнительные эпизоды и детали.

О городских сумасшедших.

Конечно, были знаменитости общегородского масштаба, как несчастный интеллигентный Жора и Мишка-Режет-кабана, которого я, помнится, видела раз в жизни. Он, приплясывая, шел по Канатной от Новорыбной (у нас в семье пользовались только старыми названиями улиц. Когда Чижилова была Пантелеймоновской, я не знаю; наверное, Губарь знает. Но и в литературе улица, ставшая в послевоенные годы Чижилова, кстати, какое-то время после войны она называлась Потемкинцев, я помню голубые жестяные дощечки с номерами домов и названием "Потемкинцев" — я ходила в первые классы школы мимо этих домов! — называется Новорыбной), так вот, Мишка-Режет-кабана шел от Новорыбной, где на углу с Канатной был долгий склад угля, продававшегося мешками и ведрами населению. Все хватало блестящие "камешки" антрацита и чертыкались, когда вместо него там оставался сероватый угольный мусор, плохо горевший, дымивший в "буржуйках" и плитах, которые были в холодное время года спасением одесситов.

Синтаксис у меня хромает. Твоя Таня бы сказала, повторив Генриха Гейне (он, правда, говорил это, по моему, о немецких числительных), что мои длинные предложения можно перебросить через Ла-Манш. Словом, Мишка-Режет-кабана шел по Канатной к Малой Арнаутской. В одной руке, кажется, была зажимашка тебе балалайка, но в другой точно был бубен, которым Мишка брэнчал в такт своей диковинной пляске. На голове у него была то ли фуражка, то ли какое-то подобие картуза. Поверх этого головного убора был надет веночек из розовых искусственных цветов, подобный тем, которые носили пионеры в колоннах первомайских демонстраций.

Зрелище было захватывающим. И на фоне этого уличного театра поблел даже любимец нашей округи — несчастный Вадик. Это был наш "районный" сумасшедший. Из тихих. Он всегда стоял на противоположном углу Канатной и Новорыбной. Человек без возраста, с редкой растительностью на лице, с отросшими волосами, спускавшимися на плечи из-под фуражки, напоминавшей польскую конфедератку. Зимой и летом, кроме конфедератки, на нем был белый парусиновый плащ, приобретший свою сероватую белизну от одесского солнца и одесских дождей. Вадик произносил что-то невнятное (по моему, у него что-то было с речью), рука была протянута в неназойливом жесте. И он всегда расклевывал. Откуда знали, что он Вадик, мне неизвестно. Все мое детство прошло мимо Вадика. Потом я уехала в Питер. Прошло много лет. И однажды, возвращаясь после работы по Садовой, я вдруг увидела Вадика. В той же конфедератке и том же плаще! Я чуть было не бросилась к нему с объятиями, как к старому знакомому. Но совершенно отсутствующий взгляд меня остановил... Больше Вадика я не видела.

На нашей памяти колоритной фигурой был Пушкин. Правда, он, скорее, был не сумасшедшим, а пьяницей общегородского масштаба и известности. Почему его звали Пушкиным? Кажется, он в людных местах читал стихи Александра Сергеевича. С неординарной внешностью — высоким, грузным, с длинными волосами и бородой. Мы его часто видели на углу Тираспольской и Успенской — углу, славившемся своей винаркой в подвале. Но не только там.

Еще одна героиня этой печальной темы. В послевоенные годы в трамваях, на улицах можно было встретить пожилую женщину с козой. Они были неразлучны (если бы не возраст и несчастный облик, ее можно было назвать Эсмеральдой). Кроме козы, у этой пожилой женщины была еще одна прелесть: на улице либо в трамвае ее разговор с самой собой прерывался громким и частым иканием. Однажды на уроке биологии (или как там это называлось в начальных классах) учительница, не помню, в каком контексте, с состраданием упомянула эту женщину, объяснив, что ее икание возникло на нервной почве. Я замерла, а моя одноклассница Эмма Чертова густо покраснела. Эта женщина была ее бабушкой...

Моя семья была, мягко говоря, небогатой. Но как

# И С Ч Е З Л И ...

жили многие мои одноклассники — страшно вспоминать. Эмма и ее младшая сестра Жанна жили в Стурдзовском переулке, на задворках книжной фабрики, когда-то принадлежавшей отцу Веры Инбер. Что-то чуть ли не о родстве с семейством Шпенцер мне рассказывала Эмма. Но то, что эта фабрика принадлежала когда-то семье поэтов, я впервые услышала именно от Эммы. Жили они: мама, маленькая несчастная женщина, почти безумная бабушка, Эмма с сестрой и несколько коз (ходила ли бабушка с одной и той же козой, либо водила их по очереди — не знаю) — в какой-то хибаре, скорее напоминавшей сарай. Да, собственно, так оно и было. Какая трагедия случилась с семьей (отец погиб на фронте), может, было это жутким наследием гетто, не знаю. Об этом Эмма никогда ничего не говорила. На мой взгляд, она была очень красивой девочкой, неординарной, теперь я таких не вижу — крупная, с красиво поставленной головой, украшенной густыми темно-медными короткими локонами, с красивым носом с горбинкой, изумительным цветом нежной кожи и зелеными-зелеными глазами. Мне кажется, что после школы мы виделись всего лишь несколько раз. Многие годы мне хотелось поехать в Стурдзовский переулок, найти Эмму... Но вот пару лет назад я, встретив свою одноклассницу из того же переулка, спросила об Эмме. "Она недавно уехала в Германию и, кстати, сказала, если я встречу тебя, чтобы передать тебе привет!" Боже, почему мы всегда опаздываем?!

И чтобы завершить этот грустный сюжет, непременно должна вспомнить еще одного героя.

Библиотека имени Горького. Сколько замечательных дней и вечеров было проведено среди ее книжных сокровищ! Мне кажется, что в те годы Горьковка дала нам гораздо больше, чем школа. Среди постоянных посетителей были люди, с которыми мы через несколько лет начинали дружить. В отделе искусств я всегда любовалась красивой парой. Я уже училась в Питере, и в очередной приезд домой Женя повел меня к художнику Саше Анурфриеву, на Ремесленную угол Успенской. В Саше и его жене, красавице Рите, я сразу узнала моих знакомых незнакомцев из отдела искусств.

Но вспомнила я о библиотеке потому, что одним из самых неординарных и запомнившихся ее посетителей был человек с внешностью Жюль Верна. Зимой и летом он ходил в рубашке с короткими рукавами, быстрой походкой, никого не замечая. Приходя в библиотеку, а он, мне кажется, бывал там каждый день, "Жюль Верн" заказывал несколько стопок книг, лихорадочно их листал, делал какие-то выписки. Библиотечная легенда твердила, что он был гениальным математиком, сошедшим с ума то ли поисках новых законов мироздания, то ли в попытках решить нерешаемые задачи.

Я вспомнила этих людей, эти эпизоды, понимая, что за каждым стояли какие-то трагедии, но они были такой же неотъемлемой частью нашей жизни, одесского пейзажа, как клены Французского бульвара и катальпы на Екатерининской улице...

**Валентина ГОЛУБОВСКАЯ.**

"...Он, приплясывая, шел по Канатной от Новорыбной". Валентина Голубовская вспоминает моего Мишку-Режет-кабана, городского сумасшедшего, вернее, районного — ибо он окормлял улицы и переулки по обе стороны Нового базара. Боюсь, моя скрупулезная конфидентка спутала Мишку с кем-то из клана Безумцев и Акробатов Господа Бога, существовавших по послевоенной Одессе. Полагаю, у них существовало нечто вроде Конвенции сыновей лейтенанта Шмидта, нарушителей которой мог насмерть зачекотать Бабайка...

Да и что, скажи мне, Валя, было делать бедному сумасшедшему, привыкшему к уюту камерного и доброжелательного Нового базара, на дикой Канатной, да еще угла Новорыбной, примыкающей в своем истоке к содомическому "Привоцу"? Согласись, добрые безумцы сродни детям, а мне есть что вспомнить... Третьеклассником, а было это в 1949 году, я увязался за первомайской колонной старших ребят нашей мужской 53-й школы (теперь в ее здании на Коблевской — районный суд) и прошел с ней аж до угла этой самой Канатной и Большой Арнаутской, где еще никогда не был. Потоптавшись там минут сорок, демонстранты свернули направо и потянулись к Куликовому полю, где залпы оружейного салюта возвестили о конце военного парада... На всю жизнь я запомнил этот угол: несколько решеток водослива справа (если стать лицом к морю) — и сегодня с опаской гляжу на них... С трудом я добрался до дома на Садовой, 6, где жил: шел, плутая по городу, около часа. Почему-то никто из взрослых, у которых я спрашивал дорогу, не посадил меня на трамвай 23-го маршрута... Ну, как было бедному Мишке добираться до пересечения этих удаленных магистралей?

А что до веночка на челе, то Мишка действительно украшал им свою фуражку из зеленого сукна с матерчатый, а не целлюлоидным козырьком (их носили фронтовики в первые месяцы войны в комплекте с обмотками и гимнастёрками с отложны-

ми воротниками), но он, скорее, напоминал не свадобный, а кладбищенский, который вывешивают на крестах в Проводы...

Зато признаюсь тебе в своем конфузе. Испытанный гордыни, вздумал уличить тебя, заметившую в предыдущих записках: "Мы часто видели его (речь идет еще об одном из городских сумасшедших — Пушкине, — Ф. К.) на углу Тираспольской и Успенской — углу, славившемся своей винаркой в подвале". "Нет такого угла!" — уже отступал я на своем компьютере в твой адрес, но все же опомнился. Есть такой угол: он образуется в месте, где Успенская, заканчиваясь, плавно, вслед за трамвайной линией 4-го маршрута тыкается в Тираспольскую. Там, замечу, издавна были две подвальные винарки, но нынче осталась только одна — на Успенской стороне. Она не входит в "Большой круг" Олега Губаря, но хорошо ему известна.

Ты вспомнила еще об одном городском, нет, не сумасшедшем, а чудике. О посетителе библиотеки им. Горького, который "весной и летом ходил в рубашке с короткими рукавами, быстрой походкой, никого не замечая". Я его тоже иногда встречал в городе, а вот с другим морозостойчивым земляком был лично знаком. Фамилия его была Бобер (имя, к сожалению, забыл), служил он корректором в газете "Чорноморська комуна", вместе с которой переехал с Пушкинской в Дом печати. Даже зимой Бобер, крепенький малыш средних лет, ходил в трикотажной бобочке с короткими рукавами, брющках с идеальной стрелкой и сандаликах из кожмита. Лишь в самые лютые морозы перекидывал через локтевой сгиб левой руки легкий пиджачок (опять же — с короткими рукавчиками!) и выходил на заснеженную, продуваемую вихрями площадь им. 50-летия СССР. На мужчину не смотрел, зато ловил женские взгляды и буквально расцветал под ними. Снисходил до разговора о погоде лишь с забывчивым Вадиком Овсянниковым, может быть, потому, что тот и сам в холода ходил в легком расстегнутом пальтишке и красный носик его частенько украшала прозрачная простуженная капелька... Кстати, моя Таня, и сама приверженица закаливания, повстречав в морозный день безумного Бобера, расстегнувшего на своей бобочке две верхние пуговицы, ставила его мне в пример — как просветленного европейца, чуть ли не олимпийца... В середине 80-х Бобер исчез. Говорят, он эмигрировал, но, полагаю, не в Израиль. Что ему делать в этой жаркой стране? Думаю, Бобер осел в Антарктиде, где ему поклоняются добрые пингвины...

Раз мы заговорили о городских сумасшедших и чудиках, отмечу утрату и конгенитальных им психиатров. Как ты знаешь, я в молодости служил по этому ведомству на Слободке-Романовке. Легендарного профессора Айхенвальда, увы, уже не застал, зато много интересного узнал о нем от его племянника Виктора — гедониста и эксгибициониста, лишившегося во время отсидки квартиры и проживавшего в 4-м отделении психбольницы. Кстати, Виктор Айхенвальд был одним из самых колоритных городских сумасшедших, но вовсе не добрых.

Во время ночных дежурств был удостоен бесед с Фрейде коллегой Айхенвальда — доцентом Коганом, утонченным чернокнижником и эстетом. Горжусь многолетней дружбой с Джонни Иосифовичем Майером, сохранившим до старости бухарестский шарм и редкостную доброжелательность, которую бескорыстно распространял на многих наших друзей и приятелей. Он представил меня моему учителю — профессору Андрею Юлиановичу Вяльскому, человеку огромной эрудиции, с которым меня связывали добрые отношения. И Майер, и Вяльковский, и добрейшая, блестящая Полячка Никифорова, и знаток одесской живописной школы Евгений Свидзинский, помогли художникам "абстракционистам" (термин спецслужб): Олегу Соколову, Шури Анурфриеву, Вове Стрельникову, Валику Хрущу, Ане Зильберман... Не все перечисленные художники были пациентами этих добрых и просвещенных врачей, но все охотно дарили им свои работы. Впрочем, и те много картин и рисунков покупали в мастерских ребят и на квартирных выставках.

Но оставим, хотя бы на время, эту неисчерпаемую тему.

...Исчезли и маленькие собачки: черно-коричневые, на тонких ножках, тарашившие свои выпуклые глазки с колен старушек, сидевших у ворот на маленьких же скамеечках... Этих метисов именовали карликовыми пинчерами, они звонко тявкали на прохожих...

...Знаток говорит, что практически исчезли честные давалки. Женя объяснит тебе, кто это. В последний раз я услышал о них, когда Саша Журбин играл и пел во Всемирном клубе одесситов номера из своего мюзикла "Биндюжник и король" (по мотивам рассказов Бабея): "Молдаванка, Молдаванка! С детства — честная давалка!"

...Исчезли обидные прозвища, которые во дворах давали мальчикам и девочкам, отличавшимся толщиной либо худобой: "Жиртрест", "Шиля-макарона", "Желудок"... Впрочем, обиднее всего дралили нас — рыжики: "Рыжая кандала, тебя кошка родила!", "Рыжий пес на пару колес"... Уверен, Валя, ты дополнишь этот список.

...Уже много лет по радио не передают любимые

мною с детства, приводившие меня в экстаз, зажигательные мелодии: "Полет шмеля" Римского-Корсакова, "Танец с саблями" Хачатуряна; но, к счастью, иногда все же "врубает" "Болеро" Раверля и "Караван" Эллинтона...

...Уже не услышишь во дворе или в трамвае такие характеристики: штым, буц, некейва, супник, а также — поцено, поцеле, хотя основное корневое слово двух последних определений все еще крепко удерживает свои позиции. Но кто это ценит?

**Твой корреспондент  
Феликс КОХРИХТ.  
В надежде на продолжение  
нашего виртуального Мемория.**

**IV**

Феликс, ну почему, почему, как какой-нибудь Чубайс, ты хочешь приватизировать Мишку-Режет-кабана? Если бы он жил только в такой дали и глуши как Новый базар, вряд ли бы его знал весь город! На Канатной, между прочим, имели честь жить когда-то И. Бларамберг и Волконские, Михаил Жук и Шолом-Алейхем, многие другие весьма почтенные граждане Одессы, среди них и наши сверстники, современники (например, на углу Новорыбной и Канатной, в доме, похожем на постройки Скведера, жил Миша Обуховский, и я, редко проезжая мимо этого мрачного дома эпохи модерна, вижу, заглядывая в современную евроокна первого этажа, когда-то мелькавшие здесь фигуры "рыжого", как его звали, Обуховского-старшего, корреспондента "Сельской жизни" (куда ж податься бедному еврейцу?!), и его сына, нашего общего приятеля, джазмена, интеллектуала, и во французской столице шелка — Лионе — сохранивший горячую и преданную любовь к Одессе, "кучерявого Мишу", как называл его Саша Анурфриев.

Словом, Мишку-Режет-кабана я не уступлю исключительно Новому базару. Он был общегородской знаменитостью, человеком свободным и гулял, где хотел. Никаких псевдо-Мишек не существовало. И не отнимай, прошу тебя, у меня это веселое и будоражащее воспоминание. Один раз в жизни, но Мишку-Режет-кабана я видела! Я же не говорю, что я видела сумасшедшего Ютку, который требовал у прохожих рубль, в случае отказа грозил плюнуть, предупреждая (то ли брал на испуг?), что у него дурная болезнь. О Ютке рассказывали старики.

Старушки с черными карликовыми пинчерами (с рыжими подпалинами!) обитали, кажется, в каждом одесском дворе. Причем ВСЕХ собачек непременно звали Жульками. Независимо от пола!

Кстати, об именах. Человечки. В каждом дворе, в каждом классе был свой Адик. Имя Адольф, очевидно, стало популярным в год пакта Риббентропа — Молотова, во время советско-германской дружбы.

Новые песни придумала жизнь, а с ними и новые популярные имена. Прежние исчезли. Вот наша общая любимница Яся назвала дочку Маргаритой. Редкое имя теперь. В наших дворах детства и наших классах (хотя мы не читали роман Булгакова) это имя было необыкновенно популярно. Исчезли Эммы, Эллы, Фани, Фриды, Нелли, Нонны, Розы. Да что там перечисленные имена. Исчезли Сарры. Со мной в классе училась Сарра Дронова и Сарра Айбиндер. Первая всегда была председателем совета отряда, отличница, вторая — прогуливала первые уроки. Я тащилась в школу, навстречу мне шла одноклассница. На мой риторический вопрос: "Сарка, куда ты идешь?" — она невозмутимо отвечала: "Как куда? В "Короленьку", на первый сеанс!" Завидовала я ей безумно. Но у Сарры Айбиндер была подруга, они жили в одном дворе, в Канатном переулке, — Сарра Макаронова, на класс младше. Младшая чуть прихрамывала, но часто я их встречала вместе: зависть моя удаивалась! Живут же люди: ходят в кино, когда хотят. Конечно, я тогда не понимала, что эта волница — не от сладкой жизни: отцы не вернулись с фронта, матери тянули всю семью, девочки были предоставлены сами себе и отдавали предпочтение шикарной жизни в трофейных фильмах, а не нудным школьным урокам...

Конечно, среди моих школьных подруг были девочки из состоятельных семей, в чьих квартирах стояла вывезенная из Германии в качестве трофея роскошная мебель, теперь, вспоминая эту мебель, понимаю, что, того не ведая, в детстве видела перовские образцы "ар деко"; естественно, о таком понятии мы и не слышали. За стеклом на полках "комбайнов" (почему-то именно так на тогдашнем бытовом языке назывались "буфеты" ар деко) стоял саксонский фарфор, а в ящиках лежали серебряные столовые приборы с готическими монограммами прежних, законных, владельцев.

И рядом с этой трофейной роскошью была неопишуемая бедность многих и многих моих одноклассниц. Какая-нибудь железная кровать, тумбочка, кривоногий стол. Голые окна...

Не забуду одно посещение. По дороге домой одноклассница (то ли какую-то книжку должна была вернуть, то ли еще за чем-то) предложила на минуту зайти к ней. Она с мамой жила в общежитии на Чижикова. Это была одноэтажная постройка, которую снесли, по моему, только когда началось

строительство нового здания театра мюзикомедии.

Даже я, совсем не избалованная, ужаснулась: это был барак, в котором стояло, как мне теперь вспоминается, несколько десятков по-солдатски заправленных коек. При койке — тумбочка. Все. На такой койке моя одноклассница спала с мамой (а было нам уже лет по 10). Я даже не решилась спросить, а где хранятся зимние (или летние) вещи, провизия и прочее. Может, их просто не было?

При бедности послевоенных лет — в памяти остались многочисленные названия тканей, некоторые я помню на ощупь. Жестковатый шевиот, дорогой бостон мужских костюмов. Креп-жоржет, креп-де-шин, креп-сатин, креп-мароккен, фэй-де-шин, маркизет ("Ой, артиль, моя троянда, маркизет, мадаполам, вишивала я узоры з триугою пополам!"), батист, шифон, сатин (как высшая похвала из маминых уст: "О, это сатин "либерти"!"; каким образом добрели воспоминания о знаменитом английском торговом доме в нашу послевоенную жизнь — ума не приложу!) Девочкам на лето, кроме сарафанчиков, шились платья — татьянки с непрременной кокеткой, отороченной оборочкой. Появление штапеля вызвало неописуемый восторг. Но что штапель, когда появились нейлоновые (первоначально прозрачные!) мужские рубашки и синтетические шубы! Улицы преобразились! Повальный отказ от кожаных и каракулевых шуб, зимних пальто на ватине с горжетками из черно-бурых лис! Красные, голубые, белые, желтые синтетические шубы воспринимались так же, как туземцами Севера стеклшки и бутылка водки, за которые отдавались песцы и прочая меховая "рухлядь!"

А плащи "болонья" и первые джинсы! Туфли на "манной каше". Я все годы в Ленинградском университете, все зимы проходила в туфлях. Ботинки (я их не любила) — только для выездов за город, на лыжи. Первые сапоги появились, увя, когда я уже оканчивала университет. Это чудо сапожного искусства и европейской обувной моды, пришедшее к нам, настигло меня уже в Одессе.

Вот тебе, дорогой Феликс, еще несколько эпизодических воспоминаний,

Валя.

## V

...Ютку, о котором ты вспоминаешь в пику моему Мишке (правильнее все же — Юдку: от Юды-Иуды), я, как и ты, видишь, разумеется, не мог: он был достопримечательностью Южной Пальмиры первых десятилетий, увя, уже ушедшего ХХ века... Но мой отец общался с ним, как и я — с Жорой-студентом: в вагоне, но не трамвая, а конки или паровичка, перевозившего дачников с Куликовского поля на станции Большого Фонтана. Юдка был не добрым городским сумасшедшим, а хитрым шантажистом, угрожавшим плюнуть в лицо "сифилисом" (которым вовсе и не страдал!) тем, кто отказывал ему в подачке...

Пусть тебя не удивляет столь долгая память моего отца: я — плод позднего брака моих родителей, у которых ранее были отдельные семьи. Сводный брат по отцу — Аба — был старше меня на 16 лет. Ты вспоминаешь о послевоенных состоятельных семьях, "в квартирах которых стояла вывезенная из Германии в качестве трофея роскошная мебель... — первоклассные образцы "ар деко". И я бывал в таких домах, но сегодня, спустя десятилетия, вспоминаю не мебель, не утварь, не картины в роскошных рамках (не тот ли это был Рубенс, который недавно объявился в России и стал причиной громкого скандала?), а немецкие радиоприемники и радиолы.

Они светили зелеными огоньками, говорили и пели бархатными голосами... Особенно ценились "Грундиги" (помнишь Высоцкого?) и "Блаупункты". Уже в 70-е (!) годы эти аппараты облюбовали наши с тобой приятели, художники-абстракционисты Витя Маринюк, Валера Басанец, Валик Хрущ и примкнувший к ним Костя Силян. Они познакомили меня с уникальным радиомастером по прозвищу Саша-Приемник, который чудом умудрялся доставать лампы к этим раритетам и ремонтировать их. Причем делал это за скромные деньги, и я прибрел тогда дивный "Телефункен", которым наслаждался несколько лет (он исправно ловил "голоса"), пока Хрущ не предложил мне в обмен на чудо-приемник свою работу с рыбками-ставридами, висящими себе на канатике. Я согласился и не жалею (хотя по "Телеку" скучаю) — ты эту работу знаешь.

Всю трофейную роскошь в Одессу привозили не фронтовики, а мародеры, баловни войны — интенданты, финансисты, военврачи-гинекологи, венерологи и т. д. Мой брат в первую посылку в декабре 45-го привез из Берлина скатку, мешок своего белья "маме на постирать" и немецкий чемодан из кожзаменила, где из трофеев были бутылка шапаса и несколько плиток шоколада. Все — эрзац, опять же из заменителей натуральных продуктов. Шоколад был из сои — это я, мелкий пацан, понял, а в водке тогда не разбираюсь...

Впрочем, и этого жидкого эрзаца 20-летнему старшему лейтенанту артиллерии (вся грудь в орденах и медалях, нашивках за ранения) хватило, чтобы достать из эрзац-кобуры натуральный пистолет "ТТ" и отправиться "вчинять справедливость". Аба твердо решил пристрелить мародера — коекого М., захватившего нашу квартиру на Софиевской, 13, где мы с братом родились и откуда его, вчерашнего десятиклассника, 23 июня 1941 года призвали на фронт, а меня — в августе вывезли в эвакуацию. Наш контуженный отец мчался за бравым старшем от дома № 6 по Садовой (мы нашли приют в коммуналке с сортиром во дворе, в которой я жил до 1968 года, куда в 1964-м пришла ко мне Таня, где вы с Женей у нас бывали) вниз по Торговой...

Лишь на углу Щепкина он перехватил своего старшего сына. Я бежал за ними и видел, как они боролись, как рухнули в снег, как Аба ненароком сломал папе большой палец, но тот все же вырвал у него пистолет... Домой они брели молча, а на углу Садовой и Торговой (возле черного входа в цирк) зашли в бodeгу и выпили по стакану водки...

Тот один из одесских вузов обрел своего многолетнего ректора. Потомки М. и сегодня живут в нашей квартире на Софиевской, с некоторыми из них я в приятельских отношениях.

Что до Обуховских, то Таня познакомилась с женой младшего в университете. Клодин, как и она, была "возвращенкой", впрочем, как ты знаешь, впоследствии все же отбыла на историческую родину — во Францию — и увезла с собой Мишу. Астарший Обуховский — корреспондент "Сельской жизни" — был дауиеном рыжих журналистов Одессы, из которых в строю остался лишь я, да и то лишь в памяти ветеранов печати: нынче, увя, сменил масть на чалую, но в хорошем смысле этого слова. Если ты, эрудитка, поправишь: "На каурую!" — не стану возражать...

...Что до имен, которыми старушки нарекали своих карликовых пинчерочков, то я добавлю к твоей несомненной Жульке Дзэку и Чарлика — у меня был такой тонкокожий песик...

А из человеческих лакун отмечу почти полное исчезновение Ев — вспомнил о нашей Прародительнице, услышав вчера с телеэкрана монолог роскошной Лолиты Мильявской, рассказывавшей о своей дочери. Кстати, как говорится, "до пары": куда-то "зникли" и Адамы... Да и вечные спутники Сарр — Абрамы...

Этот мартиролог имен и народов я рискнул выразить в стихах...

Греческая улица,  
Греческая площадь,  
Греческий базар...  
Нет в Одессе греков.  
Как, впрочем, и хазар,  
Впрочем, нет оберегутов,  
Впрочем, нет и арнаутов.  
Нет ни малых, ни больших.  
Ни хороших, ни плохих,  
Нет как не было халдеев.  
Поубавилось евреев.  
И чуть прибавилось татар...  
Вот и весь базар.  
Твой конфиденциант,

Феликс.

## VI

Дорогой Феликс! Я, когда прочла твою "Греческая улица, Греческая площадь, Греческий базар... Нет в Одессе греков...", сказала Женя: "Феликс почти Бродский", — потому что тут же вспомнила "Остановку в пустыне". "Теперь так мало греков в Ленинграде, что мы сломали Греческую церковь..."

Но эти брошенные в шутку слова заставили меня еще раз вернуться к теме, которая меня давно занимает: поэтическое эхо, "странные сближения" по Пушкину, переключке поэтов. Я это уже столько раз проговаривала в семье, а твою строчку о греках, надеюсь, позволяет мне поделиться с тобой своими не профессиональными (как у филологов-магистров), а исключительно влюбленно-читательскими наблюдениями.

Еще раз извиняюсь, зная о существовании обильной литературы и докторских диссертаций (по типу: "Пушкин и Мандельштам", "Пушкин и Ахматова" и т. п.), я все же решаюсь обнародовать (а народ — это ты!) свои впечатления.

Лишь море Черное шумит...

Аморе Черное шумит, не уставая...

Аморе Черное, витийствуя, шумит  
И с тязким грохотом  
подходит к изголовью...

У Пушкина "Ходит Веспер золотой", и мандельштамовский "Черный Веспер в зеркале мерцает".

Я столько лет, читая историю материальной культуры, показывала своим студентам сохранившиеся на краснофигурных вазах изображения архайических лир, сделанных из панциря черепахи! Вспомниная при этом: "Нерасторопна черепаха-лира, едва-едва, беспалая, ползет... Она во сне Терпандра ожидает, СУХИХ ПЕРСТОВ предчувствуя налет". И совсем недавно, перечитывая "Моцарта и Сальери", впервые обращаю внимание на эти строки: "ПЕРСТАМ придал послушную, СУХУЮ беглость..."

Таких созвучий в моей голове сохранилось множество.

"Мы разучились нищим подавать" (Н. Тихонов), и "Я искал в пиджаке монету нищим дать, чтоб они не хромали" (В. Уфлянд). Словом, это бесконечно долго можно продолжать! Но все же, прежде чем вернуться к грекам, позволю себе еще одно признание.

Когда Игорь Губерман в Женевой передаче сказал, что любит ранние стихи Веры Инбер, я от радости (родная душа!) просто подпрыгнула на стуле.

Возвращаясь из Питера домой, я твердила строчки: "Большому солнцу выйти лень, хотя давно трубили зорю, как хорошо в осенний день собраться в путь к родному морю. ...Там будет воздух чист и прян под бесконечно синим сводом, и вас, несчастных северян, я пожалею мимоходом". Гуляя по осенней Одессе в молодости, я повторяла: "Осенний воздух тонок и опасен..." Асколка раз мы пели в той же молодости "У ней такая маленькая грудь под шелковой блузкой цвета хаки. Уходит капитан в последний путь, оставив девушку из Нагасаки!"

Ну, а о том, что "У сороконожки народились крошки", мы с Анечкой, а потом Анечка с Сонечкой читали взахлеб. Не говоря уже о мальчике Бобе, который "девочку Дороти, лучшую в городе, он провозжает домой" — это же к тебе и Тане!

Но есть у Веры Инбер стихотворение, может, далеко не совершенное по форме, но доставляющее мне удовольствие, сладострастие почти на гормональном уровне. Ты его помнишь. Лучи полудня тязко пламенеют, Вступаю в море, и в морской воде Мои колени смугло розовеют, Как яблоки в траве.

Дышу и растворяюсь в водном лоне,  
Лежу на дне, как солнечный клубок.  
И раковины алые ладоней  
Врастают в неподатливый песок.

Дрожа и тая, проплывают челны.  
Как сладостно морское бытие,  
Как твердые и медленные волны  
Качают тело легкое мое.

Так протекает дивный час купанья.  
И ставшему холодным, как луна,  
Плечу приятны теплые касанья  
Нагретого полуднем полотна.

Я, когда вспоминаю эти стихи, просто физически чувствую пупырышки на коже от долгого пребывания в воде, припорошенную пляжной песочной пыльюю согревающую ткань полотенца или сарафана, что там под рукой, чтобы согреться! Просто физиологический пляжный, морской экстаз!

И вот совершенно другой сюжет. "Письмо римскому другу":  
Зелень лавра, доходящая до дрожжи.  
Дверь распахнутая, пыльное оконце.  
Стул оставленный, покинутое ложе.  
Ткань, впитавшая полуденное солнце.

Как это происходит? В переключке великих поэтов — переключке времен культуры. Вряд ли Бродский любил Веру Инбер. Но как возникают такие близкие образы, близкие в своей материальности, весомости? Это меня очень занимает.

Поэтому, когда я уткнулась в твоих греков, подумала, что это у тебя — парафраза на тему Иосифа Великого, подсознание выталкивает нечто, даже не вспоминаемое в этот миг, наитие, случайное совпадение наших невеселых реалий. Что скажешь?

В нашем общем "плаче на реках вавилонских" вот такое неожиданное и для меня отступление Лирического, как писали в школьных учебниках. Или, может, "остановка в пустыне"?

А по поводу исчезнувшего — вдвонку за "Телефункенами" как не вспомнить черные тарелки радиоточек и усладу душ 40-х, да еще и 50-х годов: ПАТЕФОНЫ с выдвигающимися закругленными ящичками, в которых хранились драгоценные иголки, это чудо дизайна тех далеких лет. И быющиеся пластинки?!  
Валя.

## VII

Salve, Валя!

Это патрицианское приветствие — в благодарности за упоминание в контексте нашей переписки имен Иосифа и Феликса. Обрати внимание: у Великого — иудейское имя, у твоего смиренного конфиденцианта — римское.

Что еще, кроме античных аллюзий, нас роднит? Оба родились рыжими. А еще — любовь к Кошкам. Знаменательно, что я пишу тебе в Международный день коша (он отмечается в конце октября). Уверен, на венецианское кладбище к Иосифу приходят его любимицы и любимцы, чтобы погреться на мраморной плите, и осенью долго сохраняющей тепло адриатического солнца...

Помнишь, Постум, как Рита Ануфриева рассказывала, что молодой Бродский любовался одесскими кошками?

Из своего средиземноморского опыта знаю, что наши ничуть не уступают египетским, турецким, итальянским, испанским... Даже греческим, где с эллинических времен царит культ Кошки.

На Санторине Таня (в чудовищную июльскую жару!) вдруг углядела в конце узенькой улочки белоготенка и ринулась за ним. Схватила — он оказался копией нашего Монстрика: белоснежный, с разными глазами. Она его тискала столб долог, что мы чуть не оторвались от гидессы, а на вулканическом острове это опасно, так как в порт ведет крутая и долгая дорога, а уже приближалось время отхода нашего судна на Крит...

Уверен, и вы с Женей, ныне хозяйва очаровательного спаниеля Юмочки, не забыли вашу Касю. Мы же — после ухода Лукаши и Апелсына — приняли в дом Монстрика и Мики, но с нами — в памяти — и Глазастик, и Агафья... И наши собаки — Биночка и Аврик... И поугайчики — Чиконька, Яша и Даша. Вчера Ян Фрейдлин в письме из Израиля уделил равное место и своим новым сочинениям, и тому, что из коша Анфиса, привезенная из Одессы много лет назад, страдает диабетом и живет на инсулине...

...Ты пишешь: "Когда я уткнулась в твоих греков, подумала, что это у тебя — парафраза на тему Иосифа Великого, подсознание выталкивает нечто, даже не вспоминаемое в этот миг, наитие... Что скажешь?"

Действительно, подсознание работает на руку старику Фрейду и Боре Херсонскому, создавшему в Одессе филиал Института психоанализа.

Вспомни Бродского:

Я покидаю город, как Тезей —  
свой лабиринт, оставив Минотавра  
смердеть, а Ариадну — ворковать  
в объятьях Ваха...

А вот несколько строк, записанных мною на Крите — после "визита к Минотавру". Я их не внес в апокрифы и коллажи, которые ты, не щадя времени, читала и комментировала. Вспомнил только сейчас. Упаси меня Зевс от пагубных сравнений, но, пожалуй, что-то действительно навеяло:

Тесей по нашим временам —  
генерал от инфантерии,  
Абдьяга Минотавр —  
жертва генной инженерии...

Просыпаюсь утром рано:  
Нет пружины от дивана!  
Всюду — нити Ариадны!  
Будь она неладна!

Может быть, и ты уловишь в цитируемых текстах — при огромной разнице поэтических достоинств — и некоторое сходство: в намеренном снижении (до телесного низа) пафоса, традиционно довлеющего над этим Мифом о Герое, Красавице и Чудовище...

...Ты вновь пишешь о трофеях (почему-то вспомнилась Троянская война...), тяжелых и ломких граммофонных пластинок, патефонах "с выдвигающимися закругленными ящичками, в которых хранились драгоценные иголки, это чудо дизайна тех далеких лет". А я вспоминаю роскошные аккордеоны (немецкие, австрийские, итальянские) — их волокли в качестве контрибуции в основном те из "победителей", кто играть не умел. Они отыгались на собственных детях. Помнишь, как в конце 40-х — начале 50-х по одесским улицам тащились мальчишки и девчонки, пригибаемые до земли громоздкими футлярами с аккордеонами? Тогда будущие Табачники на время потеснили нас, первоклашек школы имени Столярского, с нашими скрипочками и даже объемными виолончелями (я играл на этом инструменте, но не долго) в одной руке и картонными нотными папками с вытесненной надписью "Muzik" — в другой...

...Что до мальчишки Бобы, который провозжал до мной "девочку Дороти, лучшую в городе", то мы с Таней много лет знаем эту парочку — их зовут Женя и Валя...

...Начав эту эпистолу с бравурного "SALVE!" (в Одессе, к счастью, еще сохранились дома с парадными, мраморные полы которых украшает это римское приветствие, а также — уникальные одноименные папиросы с фильтром), завершу ее прощальным: "VALE!"

Что до нашего города, то лучше Иосифа не скажешь:

ЕСЛИ ВЫПАЛО В ИМПЕРИИ РОДИТЬСЯ,  
ЛУЧШЕ ЖИТЬ В ПРОВИНЦИИ У МОРЯ...

Перечитал эти строки и заметил, что цитируя Великого, пропустил одно слово: "ГЛУХОЙ". Речь идет о провинции...

Ты права: порой "наше подсознание выталкивает нечто..."  
Vale, Валя!

Твой конфиденциант — Felix.

## VIII

Феликс, у тебя совершенно замечательная ошибка, действительно фрейддовская! Мы все так исполнены обожания нашей "провинции у моря", что сделали строчки Бродского чуть ли не девизом, который вполне мог бы быть помещен на гербе Одессы. Может, нам вообще следует считать, что лучшее из написанного — о нас?! Помню, как была обескуражена, когда в "Лермонтовской энциклопедии" прочла, что поэт написал "Белеет парус одинокий", увидев впервые Балтику, а точнее, Финский залив. Мы же, очевидно, вслед за Петей Бачеем, читая с упоением эти божественные строчки, не сомневаемся в том, что они о нас! Вот же, в Отраде и Аркадии, с каменной Ланжерона и Фонтанских склонов мы видим, как белеет парус одинокий в тумане моря голубом!

Мешой, смотря кокетельский цикл "Дачников" Маши Шаховой, я поняла, о какой глухой провинции идет речь. Общение (после ссылки) с семьей Габричевских, с Марьей Степановной Волошиной, с "печальной Тавридой" вызвали и саму форму "Письма римскому другу", и эти волшебные строки. Пусть не об Одессе, но они все равно о нас, а Одессе достаточно, на мой взгляд, и гениальное "Памятника Пушкину в Одессе", написанного здесь Иосифом Бродским!

Прости, что своими "стиховедческими" соображениями я нарушила чистоту жанра нашей переписки, но так уж случилось...

Наш каталог, реестр нашей памяти может быть бесконечен. Поэтому завершу наш обмен воспоминаниями замечательным экспериментом, сочиненным Георгием Шенгели в 1931 (!) году:

Эрбий, Иттербий, Туллий,  
Стронций, Иридий, Ванадий,

Галлий, Германий, Лантан,  
Цезий, Ниобий, Теллур —

Что за динамика цезарей,  
вечных реакций основа!

Варвары смеют ее:  
Резерфорд, хаос, Эйнштейн!

Как видишь, даже перечисление химических элементов можно превратить в изысканную шутку. Не тем ли занимались и мы? Только у нас была Одесская периодическая система.

Валентина ГОЛУБОВСКАЯ.